



БЕНДЖАМИН

ФРАНКЛИН

*ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ.
АВТОБИОГРАФИЯ*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Бенджамин Франклин

Время – деньги. Автобиография

«Издательство АСТ»

1791

УДК 821.111-94(73)

ББК 84(7Сое)-44

Франклин Б.

Время – деньги. Автобиография / Б. Франклин — «Издательство АСТ», 1791 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-119912-8

Его портрет растиражирован несчетное количество раз на главной денежной купюре США. Его изобретения – громоотвод, кресло-качалка, бифокальные очки – используют во всех странах мира. Его произведения и афоризмы давно стали классикой. Автобиография Бенджамина Франклина – одна из самых увлекательных историй жизни человека, который всего добился сам, пройдя путь от недоучки до знаменитого политического деятеля, бизнесмена и ученого. События его судьбы доказывают, что для человека с пытливым умом и кипучей энергией любые проблемы становятся возможностями, а препятствия на пути к успеху только формируют характер и закаляют волю.

УДК 821.111-94(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-119912-8

© Франклин Б., 1791

© Издательство АСТ, 1791

Содержание

Глава I	6
Глава II	16
Глава III	26
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Бенджамин Франклин

Время – деньги. Автобиография

© Перевод. М. Лорие, наследники, 2019

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2020

Глава I

Туайфорд, в доме епископа Сент-Асафского, 1771

Дорогой мой сын! Мне всегда нравилось узнавать любые, пусть самые незначительные истории о моих предках. Ты, возможно, помнишь, что, когда мы с тобой были в Англии, я собирал сведения среди еще оставшихся там родственников и даже предпринял для этой цели особую поездку. Предположив, что тебе будет столь же интересно узнать обстоятельства моей жизни, из коих многие тебе еще неизвестны, и предвкушая неделю ничем не нарушаемого досуга в нынешнем моем сельском уединении, сажусь записывать их для тебя. Есть у меня к тому и другие побуждения. Выбившись из бедности и безвестности, в которой я родился и рос, и достигнув в сем мире благосостояния и некоторой известности, притом что до сих пор жизнь моя протекала счастливо, я полагаю, что потомкам моим небезынтересно будет узнать, какими средствами я, милостью божией, этого достиг и, буде иные из этих средств покажутся им пригодными и для них, они пожелают последовать моему примеру.

Размышляя о своей так счастливо сложившейся жизни, я порой думаю, что если б было мне предложено прожить эту жизнь заново, я бы не отказался, попросив лишь о льготе, которой пользуются писатели при подготовке второго издания, – исправить ошибки первого. Так и я мог бы не только исправить ошибки, но и заменить некоторые тягостные случаи и события другими, более благоприятными. Но даже если б было мне в том отказано, я все равно принял бы предложение. Поскольку, однако, трудно ожидать, что мне предложат еще раз прожить мою жизнь, самое лучшее будет эту жизнь вспомнить, а чтобы воспоминания оказались как можно более долговечными, – записать их.

Кроме того, работа эта поможет мне удовлетворить свойственную старым людям склонность поговорить о себе, о своей деятельности в прошлом и притом так, чтобы не надоесть другим, тем, кто из уважения к старости сочли бы своим долгом меня выслушивать; ведь записки каждый волен читать или не читать. И наконец (в этом можно признаться, потому что, вздумай я это отрицать, мне никто не поверит), описав свою жизнь, я, возможно, в большой мере утолю собственное тщеславие. В самом деле, всякий раз, как я слышал или видел вступительные слова: «Могу сказать, не тщеславясь...» и т. д., за этим неизменно следовало что-нибудь тщеславное. Большинство из нас осуждают тщеславие в других, что не мешает им самим грешить этим свойством, я же, встречаясь с ним, отношусь к нему терпимо, будучи убежден, что оно часто идет на пользу и обладателю его, и тем, с кем он имеет дело; а посему ничего нелепого не было бы в том, если бы человек благодарил бога за свое тщеславие, как и за другие земные блага.

А раз уж речь зашла о благодарности богу, я хочу с величайшим смирением заявить, что упомянутым выше счастьем моей прошлой жизни я обязан его милостивому промыслу, указавшему мне, к каким средствам прибегать, и обеспечившему им успех. Веруя в это, я надеюсь, хоть и не осмеливаюсь полагать, что та же милость будет мне оказана и далее и либо счастье мое будет продлено, либо мне будут ниспосланы силы, дабы перенести самые тяжкие горести, какие могут постигнуть меня, как постигли других; ибо будущее ведомо только ему, в чьей власти благословить даже наши невзгоды.

Из заметок, которые некогда передал мне один мой дядя, как и я, прилежный собиратель семейных анекдотов, я почерпнул кое-какие подробности касательно до наших предков. Так, я узнал, что они прожили в одной и той же деревне, Эктоне в Нортгемптоншире, на собственном участке земли примерно в тридцать акров, не менее трехсот лет, а сколько сверх того – он не

знал, быть может, с тех времен, когда слово «франклин», бывшее ранее обозначением одной из групп земельных собственников, сделалось фамилией, и фамилиями стали обзаводиться многие люди во всех концах королевства.

Столь малого участка земли не хватило бы на пропитание, если бы не ремесло кузнеца, которое сохранялось в семье до времен моего деда: старшего сына всегда обучали этому ремеслу и так поступили со старшими своими сыновьями мой дядя и мой отец. Изучая в Эктоне церковные книги, я нашел там записи о их рождениях, браках и похоронах лишь начиная с 1555 года, ибо до этого церковные книги в Эктоне не велись. Из сохранившихся записей я узнал, что сам я был младшим сыном младшего сына на протяжении пяти поколений. Мой дед Томас, родившийся в 1598 году, прожил в Эктоне, пока был в силах заниматься своим ремеслом, а тогда переехал в Бэнбери, в Оксфордшире, к своему сыну Джону, красильщику, у которого мой отец был в подмастерьях. Там мой дед и умер, и похоронен. Мы видели его надгробный камень в 1758 году. Его старший сын Томас всю жизнь прожил в старом доме в Эктоне и завещал его вместе с землей своей единственной дочери, а та вместе с мужем своим, неким Фишером из Боллингборо, продала его мистеру Истеду, ныне тамошнему помещику. У деда моего было, кроме умерших в младенчестве, четыре сына: Томас, Джон, Бенджамин и Иосия. Как я сейчас нахожусь далеко от моих бумаг, то расскажу тебе о них по памяти, а ты, если в мое отсутствие бумаги эти не затеряются, сможешь найти в них еще много подробностей.

Томас был обучен отцом ремеслу кузнеца, но, будучи малым способным и (так же как и его братья) поощряемый Палмером, в то время самым видным жителем их прихода, сделался в нашем графстве видной фигурой и возглавил много общественных начинаний как в главном городе графства, так и в своей деревне, о чем нам в Эктоне рассказали множество историй, и был отмечен лордом Галифаксом и пользовался его покровительством. Умер он в 1702 году, 6 января, день в день за четыре года до моего рождения. Помню, как поразило тебя рассказанное о его жизни и его нраве помнившими его старожилками, до того похоже это было на то, что ты знал обо мне. «Умри он в тот день на четыре года позже, – сказал ты тогда, – впору было бы предположить переселение души».

Джона вырастили красильщиком, кажется, шерсти. Бенджамина вырастили красильщиком шелка, и ученичество он прошел в Лондоне. Он был очень способный человек. Я хорошо его помню, ибо, когда я был маленьким, он приехал к моему отцу в Бостон и несколько лет жил у нас в доме. Он и мой отец были нежно привязаны друг к другу. Его внук Сэмюел Франклин ныне живет в Бостоне. После него осталось два рукописных тома ин-кварто с его стихами, то были стихи на случай, произведения, обращенные к друзьям и родственникам, коих образцы, присланные мне, привожу ниже.

Он изобрел собственную систему скорописи, коей обучил и меня, но я, никогда ею не пользуясь, успел ее забыть. Он был весьма благочестив, прилежно слушал лучших проповедников и записывал их проповеди по своей системе и так собрал их несколько томов. Он также много занимался политикой, слишком, пожалуй, много для его положения. Не так давно в Лондоне мне попало в руки составленное им собрание важнейших политических памфлетов, опубликованных с 1641 по 1717 год. Как явствует из нумерации, многих томов недостает, сохранилось восемь томов ин-фолио и 24 тома ин-кварто и ин-октаво. Их купил один букинист, он знает меня, так как я иногда заглядываю в его лавку, и принес их мне. Надо полагать, что дядя мой оставил их здесь, когда уезжал в Америку, а было это лет пятьдесят тому назад. На полях есть много заметок его рукой.

Наша безвестная семья рано примкнула к Реформации и оставалась протестантской даже в царствование королевы Марии, когда ревностным противникам папизма порой грозила серьезная опасность. В доме у нас была Библия на английском языке, и чтобы уберечь ее от посторонних глаз, ее в открытом виде прикрепили снизу тесьмой к сиденью табуретки. Когда мой прапрадед читал Библию вслух своему семейству, он ставил табуретку вверх ножками к

себе на колени и переворачивал страницы, вытягивая их из-под тесемок. Кто-нибудь из детей стоял в дверях, чтобы вовремя предупредить остальных о появлении пристава церковного суда. Тогда табуретку снова ставили на пол, и Библия оказывалась спрятана. Этот рассказ я слышал от моего дяди Бенджамина. Семья наша оставалась в лоне англиканской церкви до конца царствования Карла II или около того, а когда священники, подвергшиеся опале как диссиденты, съехались в Нортгемптоншир на тайное собрание, Бенджамин и Иосия стали их приверженцами на всю жизнь, остальные же члены семьи сохранили верность епископальной церкви.

Отец мой Иосия женился молодым и около 1682 года увез свою жену и троих детей в Новую Англию. Поскольку соборы священников были запрещены законом и их нередко разгоняли, несколько уважаемых друзей моего отца решили перебраться в те края и уговорили его ехать с ними, рассчитывая, что в новой стране они смогут исповедовать свою религию без помехи. От той же жены у него было еще четверо детей, родившихся уже на новом месте, а еще десять – от второй, всего семнадцать; я еще помню, как за стол их садилось тринадцать человек, все они выросли, поженились и вышли замуж; я был младшим сыном, моложе меня были только две сестры, и родился я в Бостоне, в Новой Англии. Моей матерью, второй женой отца, была Абия Фолджер, дочь Питера Фолджера, одного из первых поселенцев Новой Англии, которого Коттон Мэзер в своей книге о новоанглийской церкви под заглавием «*Magnalia Christi Americana*»¹ уважительно назвал, если память мне не изменяет, «богобоязненным и ученым англичанином». Я слышал, что он написал несколько стихотворений, но лишь одно из них было напечатано, я его читал много лет тому назад. Написано оно было в 1675 году простым, грубоватым слогом того времени и обращено к людям, управлявшим тогда тамошней общиной. Он отстаивал свободу совести, вступался за права баптистов, квакеров и других сектантов, подвергавшихся гонениям, и в этих гонениях усматривал причину и индейских войн, и других напастей, обрушившихся на колонистов, видя в них Божию кару за столь страшное злодеяние и призывая к отмене безжалостных законов. На мой взгляд, написано все это прямодушно и с большой долей мужества. Заключительные шесть строк я помню, а начало последней строфы забыл, но смысл ее был тот, что осуждение его подсказано добрыми чувствами, а потому он желает, чтобы имя его как автора стало известно.

Клевета противна душе моей (*пишет он*).
От правды не отступлю,
Из города Шерберна, где ныне живу,
Всем свое имя шлю.
Остаюсь вам преданным другом,
Я, Питер Фолджер, к вашим услугам.

Все мои старшие братья были отданы в ученичество различным ремесленникам, меня же восьми лет определили в грамматическую школу, ибо отец мой решил посвятить меня, как некую десятину от своих сыновей, служению церкви. В этом намерении его еще укрепило то, что я рано выучился читать (наверно, и в самом деле очень рано, ибо я не помню того времени, когда не умел читать), а также мнение всех его друзей, что из меня безусловно выйдет великий ученый. Одобрил это решение и мой дядя Бенджамин и предложил передать мне все тома проповедей, записанных им по его системе, затем, надо полагать, чтобы я по ним учился, если научусь понимать его руку. Однако в школе я проучился неполный год, хотя за этот год постепенно продвинулся от середины своего класса на первое место, затем был переведен в следующий класс, а к концу года и в третий. Но тем временем мой отец, убоявшись расходов на обучение в колледже, которых он при такой большой семье не мог себе позволить, и жал-

¹ «Великие деяния Христа в Америке» (*лат.*).

ких заработков, на какие обречены были многие даже после колледжа, — я сам слышал, как он излагал эти причины своим друзьям, — отказался от первоначального своего намерения, взял меня из школы и отдал обучаться письму и арифметике известному в то время учителю Джорджу Браунеллу, который к тому же добивался хороших успехов не розгой, а поощрением. Под его руководством я быстро научился хорошо писать, но арифметика мне не давалась и в ней я не преуспел. В возрасте десяти лет отец взял меня домой и поставил помощником в своем деле, а был он мыловаром и свечником. Этому делу он не был обучен с детства, а занялся им уже по приезде в Новую Англию, когда убедился, что прежнее его ремесло красильщика мало кому требуется и семью им не прокормить. И вот я принялся резать фитили, заливать формы для маковых свечей и мыла, прибирать в мастерской, бегать с поручениями и проч.

Работа мне не нравилась, меня тянуло в море, но отец и слышать об этом не хотел; однако, живя у залива, я много времени проводил на воде, рано научился плавать и управляться с лодкой; а оказавшись в лодке с другими мальчиками, обычно считался у них капитаном, особенно когда возникали какие-нибудь затруднения; да и в других обстоятельствах я обычно верховодил и, бывало, вовлекал товарищей в разные проделки, коих приведу один пример, показывающий, что я рано проникся общественным духом, но не сразу научился направлять его по верному пути.

Недалеко от нашего дома за мельничным прудом был лужок, на краю которого мы стояли во время прилива, когда удили пескарей. Мы так его вытоптали, что он превратился в болото. Я предложил построить там пристань и показал товарищам большую кучу камней, сложенных вблизи пруда для постройки нового дома и вполне подходящих для нашей затеи. И вот вечером, когда работники ушли, я собрал свою ватагу, и мы прилежно, как муравьи, поднимая каждый камень вдвоем, а когда и втроем, перетаскали их к воде и построили свою пристань. Наутро работники хватились камней и вскорости их обнаружили. Стали наводить справки, виновных нашли и пожаловались родителям. Некоторые из нас получили от своих отцов чувствительный урок, мой же отец, хоть я и убеждал его, что работу мы выполнили полезную, внушил мне, что нечестный поступок не может быть полезен.

Думаю, тебе будет интересно узнать еще кое-что о его внешности и составе. Он был человек отменного здоровья, роста среднего, но крепкого сложения и очень сильный; был богато одарен, недурно рисовал, немного играл на скрипке и обладал чистым, приятным голосом, так что когда он играл и пел псалмы, как бывало по вечерам по окончании дневной работы, слушать его было одно удовольствие. Был у него и талант к механике, он легко управлялся с орудиями, нужными в других ремеслах; но больше всего отличали его здравый смысл и трезвые суждения по хозяйственным вопросам применительно как к частной, так и к общественной жизни. В последней он, правда, сам не участвовал, поскольку необходимость содержать большую семью и ограниченность средств не позволяли ему отрываться от своего ремесла; но я хорошо помню, что к нему частенько наведывались самые почтенные наши соседи, спрашивали его мнения касательно всяких дел, городских и церковных, и с великим вниманием выслушивали его суждения и советы; советовались с ним люди и касательно своих личных дел, часто призывали его быть посредником в ссорах. Он любил видеть у себя за столом какого-нибудь разумного приятеля или соседа и сам заводил речь о каком-нибудь замысловатом или полезном предмете, дабы дети его, слушая беседу, учились уму-разуму. Так он привлекал наше внимание к тому, что есть в жизни доброго, справедливого и благоразумного; снеди же, поданной на стол, почти не уделялось внимания, как будто безразлично было, хорошо ли удалась подлива, по сезону ли блюдо, лучше оно по вкусу или хуже другого, сходного, почему и я привык пренебрегать этими вопросами и стал до того равнодушен к тому, что мне подают, что и по сей день, будучи спрошен, что я ел на обед, уже через несколько часов не могу ответить. Это сослужило мне хорошую службу в путешествиях, когда иные из моих спутников очень стра-

дали от невозможности удовлетворить свои более утонченные (потому что заботливее взлелеянные) вкусы и аппетиты.

Моя мать тоже отличалась отменным здоровьем, она вскормила грудью всех своих десяти детей. Не помню, чтобы родители мои когда-нибудь хворали, разве что перед смертью. Отец мой дожил до 89 лет, а мать до 85. Погребены они вместе в Бостоне, где я несколько лет тому назад заказал на их могилу мраморную плиту с такой надписью:

Здесь покоятся
Иосия Франклин и супруга его Абия.
Они прожили в любви и согласии 55 лет,
Не имея ни земли, ни прибыльных занятий.
С благословения божьего,
Неустанным трудом и старанием
Они содержали в достатке большую семью
И вырастили достойно 13 детей и 7 внуков.
Пусть этот пример, прохожий,
Подвигнет тебя к усердию на твоём поприще
И к вере в провидение.
Он был муж благочестивый и благоразумный,
Она жена скромная и добродетельная.
Сей камень
Из уважения к их памяти
Воздвиг их младший сын.
И. Ф. род. 1655, сконч. 1744, 89 лет.
А. Ф. род. 1667, сконч. 1752, 85 лет.

Однако я отвлекся и понимаю, что это признак старости. Раньше в моих писаниях было больше порядка. Впрочем, для тесной компании не будешь одеваться так, как для публичного бала. Возможно, это всего лишь случайная оплошность.

Итак, возвращаюсь к рассказу. В отцовской мастерской я проработал два года, то есть до двенадцати лет; и когда мой брат Джон, обученный тому же ремеслу, отделился от отца, женился и открыл свою мастерскую на Род-Айленде, мне, видимо, суждено было занять его место и стать свечным мастером. Но так как мое отвращение к этому ремеслу оставалось прежним, отец мой убоился, что, если он не подыщет мне дела по душе, я сбегу из дому и уйду в море, как поступил его сын Иосия, к великому его огорчению. И вот он стал водить меня к столбам, каменщикам, токарям, медникам и проч. и, наблюдая мои впечатления, пытался заинтересовать меня каким-нибудь сухопутным занятием. С тех самых пор я полюбил смотреть, как работают искусные мастера, и это пошло мне на пользу, я так много всего узнал, что стал выполнять кое-какие мелкие работы дома, если не находилось нужного работника, и сам мог мастерить машины для своих опытов, пока мысль о задуманном опыте еще не остыла. Наконец отец остановился на ремесле ножовщика, и так как сын моего дяди Бенджамина Сэмюел, обученный этому ремеслу в Лондоне, обосновался в то время в Бостоне, меня поместили к нему на некоторое время на пробу. Но отцу не понравилось, что он рассчитывал получать плату за мое обучение, и меня забрали домой.

Я с детства пристрастился к чтению и все деньги, какие попадали мне в руки, тратил на книги. С удовольствием прочитав «Путь паломника», я первым делом купил еще сочинения Бенъяна в нескольких маленьких томиках. Позже я их продал, чтобы купить у бродячего торговца «Исторические сборники» Р. Бэртона, дешевые книжки числом сорок или пятьдесят. Небольшая библиотека моего отца состояла главным образом из трудов по богословской полемике, большую часть их я прочел и с тех пор не раз пожалел, что в пору, когда жажда

знаний была во мне так сильна, мне не попались более подходящие книги, ведь тогда уже было решено, что священником я не стану. С интересом прочел многое из «Жизнеописаний» Плу-тарха и считаю, что это время было потрачено не зря. Была у отца еще книжка Дефо под названием «Опыт о проектах» и книга д-ра Мэзера «О добре», они породили во мне образ мыслей, повлиявший на главнейшие события моей жизни.

Видя мое увлечение книгами, отец решил наконец сделать из меня типографшика, хотя один его сын (Джеймс) уже занимался этим ремеслом. В 1717 году Джеймс вернулся из Англии с печатным станком и набором литер и открыл типографию в Бостоне. Она понравилась мне куда больше, чем отцовская мастерская, но я все еще мечтал о море. Чтобы положить этому конец, мой отец поспешил отдать меня в обучение брату. Какое-то время я этому противился, но наконец дал себя уговорить и подписал договор, когда мне еще не исполнилось тринадцати лет. Я обязывался до двадцати одного года работать учеником и только на последний год мне было оговорено жалованье подмастерья. В новом занятии я быстро преуспел и стал брату полезным помощником. Теперь я получил доступ к более интересным книгам. Я познакомился с учениками книгопродавцев, и они давали мне почитать книги с условием, что я буду возвращать их быстро и в чистом виде. Мне случалось просиживать за чтением добрую половину ночи, если книга попадала ко мне вечером, а утром ее надобно было вернуть, чтобы хозяин не успел ее хватиться.

Через некоторое время на меня обратил внимание один образованный купец мистер Мэтью Адамс, владевший изрядным собранием книг. Он бывал у нас в типографии и любезно предложил мне приходить к нему на дом и брать для прочтения любую книгу. Я теперь увлекся поэзией и сам стал понемножку сочинять стихи. Брат решил, что это сулит ему выгоду, поощрял мои попытки и сам заказывал мне баллады на разные случаи. Одна называлась «Трагедия у маяка» и повествовала о гибели в море капитана Уортилейка и двух его дочерей; другая была в форме матросской песни о том, как был захвачен пират Тич (он же Черная Борода). Стихи были никудышные, в духе тогдашней литературной дешевки, но брат печатал их, а потом посылал меня торговать ими на улицах. Первая баллада разошлась очень быстро, ибо событие, в ней описанное, произошло совсем недавно и наделало много шума. Это польстило моему тщеславию, но отец отваживал меня от стихотворства, высмеивая мои творения и убеждая меня, что стихоплетов обычно ждет нищенская доля. Так я избежал судьбы поэта, по всей вероятности, очень плохого; зато писание прозы весьма пригодились мне и помогли продвинуться в жизни, поэтому я расскажу тебе, как я в моем положении сумел приобрести свое теперешнее, пусть и несовершенное, умение: писать.

Был у нас в городе еще один юный книголюб, некто Джон Коллинз, с которым я близко сошелся. Мы с ним часто спорили, получая от сего большое удовольствие и всячески стараясь загнать друг друга в угол; а это, кстати говоря, становится дурной привычкой, так как люди, повинувшись ей и постоянно всем перечая, чрезвычайно неприятны в обществе и не только нарушают и портят общую беседу, но и вызывают к себе неприязнь и даже враждебность там, где могли бы приобрести друзей. Я заразился этой привычкой, читая отцовы книги, полные богословской полемики. С тех пор я замечал, что люди здравомыслящие редко ею страдают, если не считать законников, студентов университета и всех, кто родом из Эдинбурга.

Однажды у нас с Коллинзом завязался спор о том, подобает ли давать образование женщинам и способны ли они к учению. Коллинз считал, что учить их ни к чему и что они от природы неспособны к наукам. Я доказывал противное – просто, может быть, из желания поспорить. Он был более красноречив, располагал более богатым запасом слов и порой, как мне казалось, побеждал меня не столько силой своих доводов, сколько умением облечь их в слова. Мы расстались, так ни до чего и не договорившись, и я, зная, что в ближайшее время мы не увидимся, сел и изложил свои доводы в письменном виде, а потом переписал их набело и послал ему. Он ответил, я не остался в долгу. Когда с той и с другой стороны было написано по

три-четыре письма, мои бумаги случайно попали на глаза отцу, и он их прочел. Не вмешиваясь в существо нашего спора, он воспользовался случаем поговорить о том, как я пишу, и отметил, что хотя по части правописания и знаков препинания я превосхожу моего противника (этим я был обязан типографии), но сильно уступаю ему в изяществе слога, в ясности и логике, и тут же убедил меня на нескольких примерах. Я согласился с его замечаниями и стал уделять больше внимания своему слогу, твердо решив добиться в этом успеха.

В это примерно время мне попался в лавке старый экземпляр «Зрителя». Том третий. Раньше я этот журнал в глаза не видел. Я купил его, стал читать и перечитывать и пришел в полный восторг. Слог показался мне отменным, и я попробовал подражать ему. С этой целью я брал несколько статей и, кратко записав, какая мысль изложена в каждом предложении, откладывал затем статьи в сторону на несколько недель, а уж потом, не глядя в книгу, старался восстановить очерк, развивая одну мысль за другой так, как она мне запомнилась, и самыми, как мне казалось, подходящими для того словами. Потом я сличал моего «Зрителя» с подлинным, находил у себя ошибки и исправлял их. Но оказалось, что слов мне не хватает и нет умения быстро вспоминать их и пускать в дело, а умение это, думалось мне, у меня уже было бы, если бы я не бросил писать стихи; ведь для стихов постоянно требуются слова с одинаковым значением, но другой длины, чтобы соответствовали размеру, или же другого звучания – ради рифмы, и это заставляло бы меня беспрестанно добиваться разнообразия, а добившись его, удержать в памяти и распорядиться им по своей воле. Тогда я стал перелагать некоторые из очерков в стихи, а спустя время, уже забыв первоначальный текст, снова переписывал прозой. Бывало и так, что я смешивал в одну кучу все мои краткие заметки, а через несколько недель пытался расположить их в наилучшем порядке, чтобы потом уже построить предложения и закончить статью. Так я учился логической последовательности мыслей. Затем я сравнивал мою работу с подлинником, находил и исправлял ошибки; а иногда не без радости замечал, что в каких-то второстепенных местах мне посчастливилось превзойти подлинник в логике или в слоге, и тогда я начинал надеяться, что когда-нибудь научусь сносно писать по-английски, что было моей заветной мечтой. Время для этих упражнений, как и для чтения книг, я выкраивал вечером после работы или рано утром до работы и по воскресеньям, когда я оставался в типографии один, по возможности избегая семейного посещения церкви, которого требовал отец, когда я еще жил дома, и которое я и сам доселе почитал своим долгом, хотя и уверял себя, что не имею на него времени.

Мне было лет шестнадцать, когда я прочел книгу некоего Трайона, рекомендовавшего есть только растительную пищу. Я решил последовать его совету. Брат мой, человек холостой, не вел своего хозяйства, а столовался вместе с учениками в другой семье. Мой отказ есть рыбу вызвал кое-какие неудобства, и меня частенько ругали за мои причуды. Я вычитал у Трайона, как готовить некоторые блюда, например картошку, рис, быстрый пудинг, после чего предложил брату, что, если он будет каждую неделю давать мне половину тех денег, которые платит за мои харчи, я буду столоваться своими силами. Он немедля согласился, и скоро оказалось, что мне хватает и половины того, что он мне дает. Так у меня прибавилось денег на покупку книг. Но было тут и еще одно преимущество. Когда брат и остальные уходили из типографии обедать или ужинать, я оставался там один и, разделавшись со своей легкой трапезой – часто она состояла всего лишь из пряника и ломтя хлеба, горсти изюма или пирожка от кондитера и стакана воды, – все остальное время до их возвращения мог уделять занятиям, в которых преуспевал лучше, чем когда-либо, ибо известно, что умеренность в еде и питье обеспечивает ясную голову и быстроту понимания.

В это-то время, поскольку мне не раз уже довелось стыдиться моего невежества по части счета, которому я в школе так и не выучился, я взял учебник арифметики Кокера и одолел его с величайшей легкостью. Прочел я также руководства Селлера и Шерми по навигации и усвоил те немногие сведения по геометрии, кои в них содержались, однако дальше в этой науке

не продвинулся. И тогда же я прочел «Опыт о человеческом разумении» Локка и «Искусство мыслить» господ из Пор-Рояля.

Стараясь усовершенствовать мой слог, я купил английскую грамматику (кажется, Гринвуда), где были приведены образцы риторики и логики, причем второй из них кончался отрывками из спора по методу Сократа, и я не замедлил раздобыть Ксенофоновы «Воспоминания о Сократе», включающие несколько примеров этой metody. Она меня пленила, я отказался от привычки слишком резких возражений и безапелляционных доводов, сменив ее на смиренную роль вопрошателя и сомневающегося. А поскольку я в то время, начитавшись Шефтсбери и Коллинза, и в самом деле сомневался касательно многих пунктов нашей религиозной доктрины, то метода эта оказалась для меня самой безопасной, а моих противников нередко сбивала с толку. Поэтому я широко ею пользовался и наловчился даже людей, превосходивших меня ученостью, вынуждать к уступкам, которых последствия они не могли предвидеть, повергать их в затруднения, из которых они не могли выбраться, и таким образом одерживать победы, каких не заслуживали ни я сам, ни положения, мною отстаиваемые. Прибегал я к этой методе несколько лет, но постепенно оставил ее, сохранив только привычку выражаться скромно и без самоуверенности, никогда не употреблять применительно к какому-нибудь спорному вопросу слова «разумеется», «безусловно» и им подобные, предпочитая выражения «я полагаю», «мне кажется», или «я думаю, что это так, и вот почему», или «так это мне представляется», или «если не ошибаюсь, это именно так». Привычка эта, думается, мне очень пригодилась, когда понадобилось внедрять некоторые мои мнения и склонять людей к принятию мер, за которые я ратовал. А поскольку главная цель всякого разговора заключается в том, чтобы сообщать или получать сведения, доставлять собеседникам удовольствие или убеждать их, – я считаю, что разумным людям не подобает подрывать свою способность приносить пользу не в меру решительной манерой, ведь обычно это вызывает отвращение и отпор, а значит – идет во вред целям, для коих нам дана речь, а именно сообщать или получать сведения и доставлять удовольствие. Ибо если вы хотите сообщить какие-нибудь сведения, слишком резкая и догматическая манера может вызвать противодействие и ослабить внимание собеседника. Если же вы сами хотите обогатиться какими-нибудь сведениями, но даете понять, что ваше-то мнение на этот счет твердо, то люди разумные и скромные, неохотные до лишних споров, оставят вас пребывать в ваших заблуждениях. И не надейтесь, что вы доставите своим слушателям удовольствие или убедите тех, кого хотели бы иметь единомышленниками. Поуп прозорливо заметил:

Не дай понять ученику, что ты его учил,
Пусть думает, что знал и сам, да только позабыл.

И далее он советует нам, даже если мы в чем уверены, утверждать это как бы с оговоркой. Эта его строка рифмуется с той, которую он срифмовал иначе, причем, на мой взгляд, менее удачно:

Где нету скромности, там не ищи ума.

Если вы спросите, почему менее удачно, я должен спросить: а не является ли недостаток ума (если несчастному его не хватает) сам по себе оправданием для недостатка скромности?

Об этом, впрочем, судить не мне.

В 1720 или в 1721 году мой брат начал издавать газету. Это была вторая газета, издававшаяся в Америке, и называлась она «Вестник Новой Англии». Раньше нее появились только «Бостонские известия». Помню, что несколько друзей отговаривали его от этой затеи, уверяя, что она не сулит удачи и что для Америки достаточно и одной газеты. Сейчас, в 1771 году, их

выходит не менее двадцати пяти. Однако он не отступился от своего намерения, и я помогал ему набирать и печатать страницы, а потом разносил газету по городу.

Среди его знакомых были образованные люди, которые время от времени забавы ради сочиняли для его газеты статьи. Это повышало спрос, а господа эти часто нас посещали. Слушая их разговоры и рассказы о том, как одобрительно встречают их сочинения, я загорелся желанием тоже попытаться счастья; но так как я был еще очень юн и подозревал, что брат не захочет печатать мои произведения, если будет знать, что они написаны мною, я однажды изменил свой почерк и ночью подсунул листок без подписи под дверь типографии. Утром брат его нашел и показал своим пишущим друзьям, когда те по обыкновению к нам зашли. Они прочли статью, обсудили ее при мне, и я с величайшей радостью убедился, что статью они одобрили и, теряясь в догадках, кто бы мог быть ее автором, называли только имена людей, известных своей ученостью и остротой ума. Возможно, мне просто повезло на критиков и сочинение мое было не столь хорошо, как мне тогда казалось.

Однако я, ободренный успехом, таким же способом опубликовал еще несколько вещей, тоже принятых благосклонно; и держал это в тайне до тех пор, пока не иссяк скудный запас моих мыслей и тем, а тогда открыл тайну, после чего друзья брата стали относиться ко мне уважительнее, чем брат был недоволен, потому что опасался, вероятно не без основания, как бы я не загордился. Возможно, это было одной из причин тех размолвок, которые между нами начались в то время. Он, хоть и был мне брат, считал себя моим хозяином, а меня – учеником и соответственно ожидал от меня, как и от других учеников, кое-каких услуг, я же считал, что он мною помыкает и что брату пристало бы быть снисходительнее. Споры наши нередко приходилось разрешать отцу, и то ли я чаще был прав, то ли язык у меня был лучше подвешен, только решение его обычно бывало в мою пользу. Но брат был человек вспыльчивый, поколачивал меня, а этого я не терпел; учение порядком мне надоело, я только и мечтал о том, как бы его сократить, и наконец совершенно неожиданно к тому представился случай².

Одна из политических статей в нашей газете, какая именно, уже не помню, вызвала недовольство Законодательной Ассамблеи. Брата взяли под стражу, судили и приговорили к месяцу тюрьмы, как я понимаю, – по приказу спикера, за то, что он отказался назвать автора статьи. Меня тоже взяли и подвергли допросу; но, хотя я ничего не сообщил, удовольствовались предостережением и отпустили, решив, очевидно, что я как ученик связан обещанием хранить хозяйские тайны.

Пока брат находился в заключении, что очень меня возмущало, несмотря на наши личные нелады, я возглавлял газету и осмелился раза два высмеять в ней наших правителей. Брат мой отнесся к этому снисходительно, но кое-кто стал поглядывать на меня косо, усмотрев во мне юного умника, не гнушающегося пасквилем и сатирой. Брата выпустили на свободу, но Ассамблея тут же издала очень странное постановление о том, что «отныне Джеймсу Франклину запрещается издавать газету «Вестник Новой Англии». Чтобы решить, как ему быть дальше, у нас в типографии собрались на совещание друзья. Кто-то из них предложил обойти это постановление, изменив название газеты, но брат усмотрел в этом неудобства, и был найден лучший выход: сделать издателем газеты Бенджамина Франклина, а чтобы Ассамблея не осудила его за то, что газету издает его ученик, решили вернуть мне мой старый договор, сделав на обороте надпись, что он меня отпускает вчистую. Эту надпись я при случае мог показать кому следует, а чтобы не лишиться брата своих услуг, я подписал новый договор, уже не подлежащий оглашению. План был ненадежный, однако его немедля привели в исполнение, и несколько месяцев газета выходила под моим именем.

² Думаю, что его деспотическое обращение со мной и породило во мне отвращение к произволу, сохранившееся у меня на всю жизнь. (Здесь и далее примеч. автора.)

А потом, когда мы с братом опять повздорили, я попробовал утвердить свою независимость, предположив, что он не решится заговорить о новом договоре. С моей стороны это было нечестно, теперь я считаю это первой серьезной ошибкой в моей жизни, но в то время это меня мало смущало, гораздо ближе к сердцу я принимал его крутой нрав, хотя в общем-то человек он был не злой, скорее это я бывал слишком дерзок и мог хоть кого вывести из терпения.

Видя, что я его покидаю, брат принял меры к тому, чтобы мне не дали работы ни в одной из бостонских типографий, не поленился обойти всех мастеров, и те один за другим указали мне на дверь. Тогда я надумал податься в Нью-Йорк, ближайший город, где, как я знал, была типография; я и без того подумывал, что с Бостоном пора расстаться: я успел подпортить свою репутацию в глазах партии, стоявшей у власти, и, судя по тому, как Ассамблея расправилась с моим братом, имел основания ожидать, что вскоре и у меня начнутся крупные неприятности; к тому же вследствие моих неосторожных замечаний о религии добрые люди уже стали показывать на меня пальцем как на еретика и безбожника. И я решил скрыться. Но на этот раз отец принял сторону брата, я понимал, что, вздумай я уехать открыто, мне сумеют помешать. И тогда мой приятель Коллинз взялся мне помочь. Он договорился с капитаном одного шлюпа, что тот доставит меня в Нью-Йорк, потому что я его друг, и якобы от меня забеременела одна беспутная девица, ее друзья грозят женить меня насильно, а поэтому ни появляться на людях, ни уехать открыто я не могу. И вот я продал часть моих книг, чтобы иметь денег на дорогу, меня украдкой посадили на шлюп, и через три дня, при попутном ветре, я уже был в Нью-Йорке, в трехстах милях от дома, семнадцатилетний мальчишка без рекомендации, почти без денег и ни души в Нью-Йорке не знающий.

Глава II

Мои мечты о море к тому времени рассеялись, не то теперь я мог бы осуществить их. Но я успел овладеть ремеслом и, полагая себя изрядным работником, предложил свои услуги мистеру Уильяму Брэдфорду, который был первым печатником Пенсильвании, но уехал оттуда, поссорившись с Джорджем Китом. Работы он не мог мне дать, потому что заказов получал мало, а помощники у него и так были, но сказал: «У моего сына в Филадельфии недавно умер старший помощник, Аквила Роуз; поезжай к нему, думаю, у него найдется для тебя дело». До Филадельфии было еще сто миль, но я сразу пустился туда на лодке через Амбой, отправив мой сундук и прочие пожитки морем. Когда мы пересекали бухту, налетел шквал, порвал в клочья наши гнилые паруса и погнал нас к Лонг-Айленду. По пути один пьяный голландец, тоже пассажир, свалился за борт. Я за волосы вытащил его из воды обратно в лодку. От холодного купания он слегка протрезвился и скоро уснул, но предварительно достал из кармана какую-то книжку и просил меня ее высушить. Это оказался мой давнишний любимец, «Путешествие Пилигрима» Беньяна на голландском языке, прекрасно отпечатанный, на хорошей бумаге и с гравюрами, в таком нарядном издании он мне на своем родном языке не попался. Позже я узнал, что книга эта переведена почти на все европейские языки и читают ее больше, чем любую другую книгу, за исключением разве Библии. Сколько я знаю, наш славный Джон Беньян первым стал перемежать повествование диалогом, и эта метода любезна читателю, он в самых интересных местах начинает ощущать себя как бы собеседником, участником событий. Дефо с успехом употреблял тот же прием в своем «Робинзоне Крузо» и «Молль Флендерс», в «Религиозном сватовстве», «Семейном наставнике» и других сочинениях. То же делает Ричардсон в «Памеле» и др.

Приблизившись к Лонг-Айленду, мы увидели, что высадиться в этом месте невозможно, берег был скалистый и прибой очень сильный. Мы бросили якорь и стали под ветер. Какие-то люди окликнули нас с берега, мы ответили, но за шумом ветра и прибоя не могли слышать друг друга. На берегу виднелось несколько рыбацких лодок, мы кричали и знаками просили выслать их за нами, но рыбаки либо не понимали нас, либо решили, что выполнить нашу просьбу не могут, и наконец ушли; тем временем уже темнело, и нам оставалось только ждать, когда ветер утихнет. Мы с хозяином лодки решили пока поспать, если удастся, и через люк забрались вниз, к нашему голландцу, который до сих пор не высох, потому что вода перекачивалась через борт нашей лодки и протекала к нам, так что скоро мы стали такие же мокрые, как и он. Так мы провели всю ночь, весьма, надо сказать, беспокойно, но наутро ветер стих, и нам удалось добраться до Амбоя, проведя в море тридцать часов без еды, а для питья имея только бутылку прескверного рома, потому что вода в заливе была соленая.

К вечеру я почувствовал сильный озноб и вынужден был лечь, но я читал где-то, что лихорадка отпускает, если выпить побольше холодной воды, и так и поступил; всю ночь я пропотел, к утру мне стало легче, и я, переправившись на пароме, пошел дальше пешком пятьдесят миль до Берлингтона, где, как мне сказали, можно найти лодку, которая доставит меня в Филадельфию.

Весь тот день лил дождь; я промок до нитки, к полудню очень устал и остановился на ночлег в плохонькой харчевне, с сожалением подумав, что не следовало мне, пожалуй, уходить из дому. Вид у меня был такой жалкий, что по вопросам, какие мне задавали, я понял, что меня принимают за слугу, сбежавшего от хозяина, и по этому подозрению в любую минуту могут схватить. Однако утром я двинулся дальше и к вечеру, не доходя миль восемь или десять до Берлингтона, добрался до гостиницы, которую содержал некий доктор Браун. Пока я ужинал, он вступил со мной в разговор и, убедившись, что я много читал, проникся ко мне дружескими чувствами. Знакомство наше продолжалось до самой его смерти. В прошлом он, очевидно,

был странствующим лекарем. Не было того города в Англии и той страны в Европе, о которых он не мог бы рассказать во всех подробностях. Он был хорошо образован, остроумен, но большой нечестивец и через несколько лет после нашей встречи задумал пересказать Библию стишками подобно тому, как Коттон проделал это с Вергилием. Многие факты он изобразил весьма забавно, и работа его, будь она опубликована, могла бы поколебать кое-какие шаткие верования, но она так и не увидела света.

Ту ночь я провел в его доме, а наутро дошел до Берлингтона, но там, к великому своему огорчению, узнал, что перед самым моим приходом лодки, регулярно курсирующие до Филадельфии, ушли, новых не ждут раньше вторника, а была суббота; поэтому я вернулся в город, к одной старой женщине, у которой закупил в дорогу имбирных пряников, и спросил ее совета, как мне теперь быть. Она предложила мне пока пожить у нее, и я согласился, потому что очень уж устал от пешего хождения. Узнав, что я типографщик, она даже подала мне мысль поселиться здесь и заняться моим ремеслом, не зная, что для этого требуется обзаведение. Она была очень гостеприимна, радушно накормила меня супом из бычьей головы, а в уплату взяла только жбан эля, и я успокоился, что до вторника не пропаду. Но вечером, когда я прогуливался у реки, к пристани причалила большая лодка, и оказалось, что она следует в Филадельфию. Меня взяли на борт пассажиром, и так как ветра не было, мы всю дорогу гребли; а около полуночи некоторые мои спутники, раньше не бывавшие в Филадельфии, заявили, что по всей вероятности мы проплыли мимо, и отказались грести дальше; другие просто не знали, где мы находимся, и вот мы повернули к берегу, зашли в небольшую бухточку, причалили у какого-то старого забора и, надергав из него жердей на дрова, развели костер (ночь была холодная, как всегда в октябре) и так просидели до рассвета. Когда же рассвело, кто-то сообразил, где мы: Филадельфия находилась чуть ниже по течению, мы увидели ее, едва вышли из бухточки, и, прибыв туда в воскресенье утром, часов в восемь или девять, высадились на пристани у Рыночной улицы.

Я для того так подробно описал это мое путешествие и намерен столь же подробно описать мои первые дни в Филадельфии, чтобы ты мог сопоставить столь мало обнадеживающее начало с тем, какого положения я там впоследствии достиг. Я был в рабочем платье, лучший мой костюм еще не прибыл. Я был весь грязный с дороги, карманы, набитые рубашками и чулками, оттопырились, и я понятия не имел, где искать пристанища. Я обессилел от ходьбы, гребли и беспрестанного передвижения; был очень голоден, а денег имел один голландский доллар и около шиллинга медью. Эту мелочь я отдал за проезд хозяину лодки, он сначала не хотел их брать, потому что я, мол, помогал грести, но я настоял. Когда у человека мало денег, он бывает щедрее, нежели когда имеет их много, – потому, возможно, что боится, как бы его не приняли за бедняка.

Потом я пошел по улице, глядя по сторонам, и возле рынка встретил мальчика, который нес хлеб. Мне уже приходилось питаться одним хлебом, и узнав у мальчика, где он его купил, я тут же направился в пекарню на Второй улице и спросил сухарей, имея в виду такие, как делали у нас в Бостоне, но оказалось, что здесь такими не торгуют; когда я попросил хлебец за три пенни, мне сказали, что хлебцев таких нет. Тогда я, не зная ни сортов хлеба, ни цен, попросил пекаря дать мне чего угодно на три пенни, и он дал мне три огромные пышные булки. Я удивился, что получилось так много, но забрал все, две булки сунул под мышку, а третью тут же начал есть. Так я прошел всю Рыночную до Четвертой улицы, между прочим, прошел мимо дома мистера Рида, моего будущего тестя, а дочь его, стоявшая на пороге, увидела меня и нашла, что вид у меня самый нелепый и уморительный, как оно, несомненно, и было. Потом я, не переставая жевать, свернул на Каштановую улицу, с нее на Ореховую и, сделав круг, опять очутился на пристани возле своей лодки, куда и заглянул выпить воды. Насытившись к тому времени одной булкой, я отдал две другие женщине с ребенком, которая приехала сюда вместе с нами и собиралась плыть дальше на той же лодке.

Подкрепившись, я опять пошел вверх по Рыночной улице, но теперь по ней, в ту же сторону, что и я, двигалось много чисто одетых людей. Я влился в этот поток, и он принес меня в молитвенный дом квакеров возле рынка. В молитвенном доме я, оглядевшись, сел на скамью и, так как никто ничего не говорил, а у меня глаза слипались после столь беспокойной ночи, скоро крепко уснул и проспал все собрание до конца, когда какой-то добрый человек разбудил меня. Это был первый дом в Филадельфии, в который я вошел и где я спал.

Опять возвращаясь к реке и разглядывая прохожих, я встретил молодого квакера, чье лицо мне понравилось, и обратился к нему с вопросом, не знает ли он, где можно остановиться приезжему. Мы как раз стояли возле вывески «Трех матросов», и он сказал: «Вот и здесь принимают приезжих, но дом этот пользуется дурною славой. Пойдем со мной, я покажу тебе место получше». И он привел меня в «Веселый постоя», что на Водной улице. Здесь мне подали обед, и, пока я ел, мне задали кое-какие хитрые вопросы, из которых я понял, что меня, судя по моему виду и возрасту, приняли за какого-то слугу или ученика, сбежавшего от хозяина.

После обеда мне снова захотелось спать; мне указали постель, я лег не раздеваясь и проспал до шести часов, когда позвали ужинать, а потом опять лег и крепко проспал до следующего утра. Утром же как мог умылся, почистился и пошел к типографщику Эндрю Брэдфорду. У него я застал его старого отца, которого видел в Нью-Йорке. Он попал в Филадельфию раньше меня, потому что ехал верхом. Он представил меня сыну, и тот принял меня учтиво и накормил завтраком, однако сказал, что помощник ему сейчас не требуется, только что нанят; но в городе есть еще один печатник, некто Кеймер, тот недавно здесь обосновался и, возможно, возьмет меня; если же нет, он предлагает мне пока пожить у него в доме, и он будет по мере надобности поручать мне кое-какую работу.

Старик взялся отвести меня к новому типографщику и сказал ему: «Сосед, я привел вам молодого человека, обученного нашему делу, может быть, он вам пригодится». Кеймер задал мне кое-какие вопросы, потом дал в руки верстатку, посмотреть, как я работаю, а потом сказал, что вскоре возьмет к себе, хотя сейчас работы для меня нет; и, решив, что старый Брэдфорд, а он его раньше никогда не видел, особенно к нему расположен, принялся описывать ему свое положение и планы на будущее. А Брэдфорд, утаив, что он отец второго здешнего печатника, и услышав от Кеймера, что тот намерен в ближайшее время прибрать к рукам чуть не все типографское дело, ловко выманил у него всевозможные сведения касательно его видов, и на чью помощь он рассчитывает, и как думает действовать. Я стоял тут же, слышал все это и сразу смекнул, что один из них – прожженный старый интриган, а другой – неопытный новичок. Потом Брэдфорд ушел, а Кеймер весьма удивился, узнав от меня, кто был этот старик.

Как выяснилось, все обзаведение Кеймера состояло из ветхого, расхлябанного печатного станка и небольшого комплекта стершихся английских литер, и все это сейчас нужно было ему самому, так как он в это время набирал «Элегию на смерть Аквилы Роуза», о котором я уже упоминал, – это был образованный молодой человек примерного поведения, очень уважаемый в городе, служивший в Законодательной Ассамблее и приятный поэт. Кеймер и сам сочинял стихи, но очень посредственные. Нельзя сказать, что он их писал, – он выдумывал их и тут же набирал, и так как была у него всего одна касса и весь шрифт, похоже, должен был уйти на «Элегию», то помочь ему никто не мог. Я попробовал наладить его станок (которым он еще не пользовался и в котором ничего не смыслил) и, пообещав прийти и отпечатать его «Элегию», как только она будет готова, вернулся к Брэдфорду, а тот поручил мне небольшую работу и предложил пока жить и столоваться у него. Через несколько дней Кеймер послал за мной и просил отпечатать «Элегию». Теперь у него освободилась вторая касса и требовалось напечатать какой-то памфлет, на какую работу он меня и поставил.

Оба эти типографщика были плохими мастерами. Брэдфорд не обучался ремеслу сызмальства и был очень безграмотен; а Кеймер, хотя и получил кое-какое образование, был всего лишь наборщиком, в тиснении же не знал толку. В прошлом он принадлежал к французским

пророкам и умел подражать их ревностному красноречию. Ко времени нашего знакомства он не причислял себя ни к какому определенному вероисповеданию, но при случае высказывался в любом смысле, очень плохо знал жизнь и, как я впоследствии убедился, был изрядным мошенником. Ему не нравилось, что я, работая у него, живу у Брэдфорда. Сам он снимал целый дом, но не обставленный, так что не мог меня там поселить, но устроил мне жилье у вышеупомянутого мистера Рида, у того был собственный дом. И так как мои вещи наконец прибыли, мой внешний вид показался мисс Рид не столь смехотворным, как в тот день, когда ей довелось увидеть, как я иду по улице и ем булку.

Я начал заводить знакомства среди местных молодых людей, любителей чтения, весьма приятно проводил с ними вечера и, зарабатывая деньги усердием в работе и воздержанием, жил в свое удовольствие, стараясь поменьше думать о Бостоне и вовсе не желая, чтобы кто-нибудь из тамошних жителей узнал, где я нахожусь, за исключением моего друга Коллинза, которого я посвятил в мою тайну, и он свято хранил ее после того как получил мое письмо. Но случилось одно обстоятельство, заставившее меня вернуться в Бостон намного раньше, чем я намеревался. Один из моих зятьев, Роберт Холмс, был хозяином шлюпа, на котором вел торговлю между Бостоном и Делавэром. Однажды, будучи в Ньюкасле, что в сорока милях ниже Филадельфии, он там прослышал обо мне и написал мне письмо, в котором рассказал, как огорчил моих бостонских друзей мой внезапный отъезд, уверял меня в добром их ко мне расположении и горячо доказывал, что стоит мне вернуться домой, и все уладится согласно моим желаниям. В ответном письме я поблагодарил его за совет и подробно разъяснил, какие причины заставили меня расстаться с Бостоном, чтобы он понял, что я не так виноват, как ему кажется.

В ту пору в Ньюкасле находился сэр Уильям Кит, губернатор провинции, и случилось так, что мое письмо подали Холмсу в его присутствии. Холмс рассказал ему обо мне и показал письмо. Губернатор прочел его и выразил удивление, когда узнал, сколько мне лет. Он сказал, что я, как видно, подаю надежды, а значит, достоин поощрения. Филадельфийские печатники никуда не годятся, и если я надумаю открыть там свою типографию, он не сомневается в успехе. Сам же он берется поручать мне все заказы из подведомственных ему учреждений и вообще оказывать мне всемерную поддержку. Все это мой зять рассказал мне много позже, уже в Бостоне, но тогда я ничего об этом не знал, и вот однажды, когда мы с Кеймером работали у окна, мы увидели, как губернатор, а с ним еще один господин (как оказалось – полковник Френч из Ньюкасла), оба роскошно одетые, пересекли улицу прямо к дверям нашего дома.

Кеймер поспешно сбежал вниз, вообразив, что это пришли к нему, но губернатор сказал, что ему нужен я, поднялся в типографию и с учтивостью и снисходительностью, совершенно для меня непривычными, наговорил мне любезностей, выразил желание со мной познакомиться, пожурил, зачем не побывал у него, когда только прибыл в Филадельфию, и предложил пойти с ним в харчевню, куда он направлялся с полковником Френчем, чтобы отведать, как он выразился, превосходной мадеры. Я был этим немало удивлен, а у Кеймера прямо глаза на лоб полезли. Однако я отправился с губернатором и полковником Френчем в харчевню на углу Третьей улицы, и там, за мадерой, губернатор предложил мне открыть собственное дело, обрисовал, какие возможности это мне сулит, и в один голос с полковником Френчем стал заверять, что употребит все свое влияние, чтобы обеспечить меня заказами как по гражданской, так и по военной части. Когда я выразил сомнение в том, поддержит ли меня отец, сэр Уильям пообещал дать мне письмо, в котором изложит все выгоды своего предложения, так что отец мой, конечно же, даст себя уговорить. Так и было решено, что я вернусь в Бостон первым же кораблем, какой туда пойдет, с рекомендательным письмом моему отцу от губернатора провинции. А тем временем мы сговорились держать наши планы в секрете, и я продолжал работать у Кеймера, а губернатор изредка присылал звать меня к обеду, что я почитал за большую честь, и беседовал со мной до крайности благосклонно и участливо.

В конце апреля 1724 года стало известно, что в Бостон снаряжается небольшое судно. Я простился с Кеймером, сказав, что еду навестить родных. Губернатор вручил мне объемистое письмо, в коем написал отцу много лестного обо мне и усиленно советовал помочь мне обосноваться в Филадельфии и таким образом нажить состояние. В заливе мы наскочили на мель, и наше суденышко дало течь, почти всю дорогу мы откачивали воду, в чем и я участвовал наравне с другими. Впрочем, через две недели мы прибыли-таки в Бостон целы и невредимы. Я пробыл в отсутствии семь месяцев, и никто ничего обо мне не знал, ибо Холмс еще не вернулся и не писал о нашей встрече. Неожиданное мое появление очень удивило всю семью, но все были рады меня увидеть и встретили дружески, все, кроме моего брата. Я пришел к нему в типографию, одет я был лучше, нежели когда работал под его началом, с головы до ног во всем новом, при часах, и в карманах около пяти фунтов стерлингов серебром. Брат встретил меня не слишком ласково, окинул взглядом и вернулся к прерванной работе.

Подмастерья стали меня расспрашивать, где я побывал, какие там места да как мне там понравилось. Я расхвалил Филадельфию, сказал, что жилось мне там отменно, и выразил твердое намерение воротиться туда; а когда один из них спросил, какие там деньги, достал из кармана пригоршню серебра и разложил перед ними. Им это было в диковину, ведь они привыкли к бумажным деньгам, какие ходили в Бостоне. Потом я дал им разглядеть мои часы и наконец (видя, что брат продолжает дуться) подарил им испанский доллар на выпивку и откланялся. Это мое посещение очень его разобидело. Когда мать через некоторое время завела речь о примирении, о том, чтобы впредь мы жили дружно, как подобает братьям, он заявил, что я так оскорбил его при его работниках, что он этого никогда не забудет и не простит. В этом он, однако, ошибся.

Моего отца письмо губернатора как будто удивило, но в первые дни он со мной об этом почти не говорил, а тут вернулся капитан Холмс, и отец показал ему письмо и, спросив, знаком ли он с Китом и какого о нем мнения, добавил от себя, что, на его взгляд, недальновидно предоставлять самостоятельность юнцу, которому недостает еще трех лет до того, чтобы считаться мужчиной. Холмс сказал, что мог, в поддержку губернаторских планов, но отец настаивал, что дело это неподобающее, и наконец наотрез отказался мне содействовать, после чего написал сэру Уильяму учтивое письмо, поблагодарил за покровительство, оказанное сыну, но в поддержке отказал, ибо я-де слишком молод, чтобы доверить мне руководство делом столь важным и требующим для начала столь больших расходов.

Мой приятель Коллинз, служивший по почтовому ведомству, прельщенный моими рассказами о Филадельфии, решил тоже туда переселиться и, пока я ждал, что решит отец, первым отбыл сухопутной дорогой в Род-Айленд, а свои книги – труды по математике и натурфилософии – просил меня доставить вместе с моими книгами в Нью-Йорк, где обещал меня дожидаться.

Мой отец, хоть и не одобрил предложения сэра Уильяма, был доволен, что я получил столь лестный отзыв от столь высокопоставленного лица и что я, проявив усердие и осмотрительность, сумел за такой короткий срок так славно снарядиться; поэтому, потеряв надежду помирить меня с братом, он разрешил мне вернуться в Филадельфию, посоветовал вести себя там скромно, по мере сил заслужить всеобщее уважение и воздерживаться от клеветы и пасквильанства, к чему я, по его мнению, чересчур склонен; я сказал, что к тому времени, когда мне исполнится двадцать один год, я, при должном усердии и бережливости, могу, вероятно, накопить достаточно денег на собственное обзаведение, а если немного не хватит, то он доложит. Вот и все, чего я добился, если не считать небольших подарков, врученных мне в знак родительской любви, когда я опять отплывал в Нью-Йорк с его и матери согласия и благословения.

В Ньюпорте на Род-Айленде, где шлюп делал остановку, я навестил моего брата Джона, который женился и жил там уже несколько лет. Он встретил меня очень ласково, потому что всегда меня любил. Один его приятель, некто Вернон, которому кто-то в Пенсильвании задол-

жал тридцать пять фунтов, попросил меня взыскать за него эти деньги и поддержать у себя до тех пор, пока он не даст мне знать, как их возместить. Для этого он дал мне доверенность. А я впоследствии хлебнул горя с его деньгами.

В Ньюпорте мы взяли на борт много пассажиров до Нью-Йорка, среди них были две молодые женщины, ехавшие вместе, и почтенная, рассудительная квакерша со служанкой. Я охотно оказывал ей кое-какие мелкие услуги, чем, видимо, и заслужил ее благосклонность, ибо она, заметив, что я день ото дня провожу все больше времени с теми двумя женщинами, а они явно это приветствуют, отвела меня однажды в сторонку и сказала: «Молодой человек, я за тебя не спокойна, у тебя нет надежного спутника, а ты, видно, неопытен в жизни и не знаешь, какие ловушки подстерегают молодость. Поверь мне, эти женщины очень дурные, я это вижу по их повадкам; и если ты не остережешься, они и тебя втянут в дурные дела: ты с ними незнаком, и я, ради твоего же блага, советую тебе не общаться с ними». Я сперва не придавал значения ее словам, но она упомянула о некоторых не замеченных мною мелочах, известных ей либо из собственных наблюдений, либо из разговоров, и тогда я понял, что она права. Я поблагодарил ее за совет и обещал ему последовать. Когда мы подходили к Нью-Йорку, те женщины дали мне свой адрес и звали заходить; но я уклонился и хорошо сделал: наутро капитан заметил, что из его каюты пропала серебряная ложка и еще кое-какие вещи, и, зная, что девицы эти гулящие, он получил ордер на обыск их жилища, нашел пропавшие вещи и добился, чтобы воровки были наказаны. И я подумал, что легко отделался: ведь мне грозила опасность посерьезнее тех подводных камней, на которых мы чуть не застряли по дороге.

В Нью-Йорке я отыскал моего приятеля Коллинза, прибывшего туда раньше меня. Мы с ним дружили с детства, вместе читали одни и те же книги; но у него всегда было больше времени для чтения и занятий, да к тому же редкие способности к математике, о каких я не мог и мечтать. Пока я жил в Бостоне, я проводил с ним почти все свободное время, и он показывал себя юношей трезвым и трудолюбивым; некоторые духовные лица и другие образованные люди уважали его за ученость, и будущее его, казалось, было обеспечено. Однако после моего отъезда он пристрастился к вину, а с тех пор как прибыл в Нью-Йорк, каждый день напивался пьян и вел себя очень странно, о чем я узнал как от него самого, так и от других. К тому же он играл и проигрывал, так что мне пришлось и по пути в Филадельфию, и по прибытии туда платить за его жилье и нести другие расходы, очень для меня обременительные.

Тогдашний губернатор Нью-Йорка Бэрнет (сын епископа Бэрнета), узнав от нашего капитана, что среди его пассажиров есть молодой человек, который везет с собой много книг, просил привести меня к нему. Я побывал у него и взял бы с собой Коллинза, но он был нетрезв. Губернатор принял меня весьма любезно, показал мне свою богатейшую библиотеку, и мы с ним долго беседовали о книгах и писателях. Это был уже второй губернатор, соизволивший обратить на меня внимание, что для меня, неимущего юноши, было очень лестно.

Мы отправились дальше, в Филадельфию. По пути я получил деньги Вернона, без которых не знаю как бы мы добрались до места. Коллинз рассчитывал получить работу в какой-нибудь конторе, но о пороке его все догадывались либо по его дыханию, либо по разговору, и, хотя он имел рекомендательные письма, хлопоты его оставались безуспешны, так что он по-прежнему жил и столовался у меня и за мой счет. Зная, что я храню деньги Вернона, он то и дело просил у меня займы и клялся, что расплатится, как только устроится на работу. Он перебрал у меня уже так много из этих денег, что я с ужасом думал о том, как мне быть в случае, если Вернон их востребует.

Пить он не бросил, из-за чего у нас случались ссоры, потому что он, когда навеселе, вел себя очень своенравно. Однажды, катаясь в лодке по Делавэру со мной и с другими молодыми людьми, он отказался грести в свой черед. «Пусть, – говорит, – меня везут домой». – «Нет, – говорю я, – мы тебя не повезем». – «И не надо, – говорит, – оставайтесь на реке хоть всю ночь». Другие сказали: «Бог с ним, это не важно, давайте грести». Но я был уже так раздо-

садован, что продолжал упираться. Тогда он поклялся, что либо заставит меня грести, либо выкинет за борт, и, добравшись ко мне по банкам, набросился на меня. Я подхватил его под колено, поднялся и швырнул его вниз головой в воду. Я знал, что он хорошо плавает, поэтому не очень о нем тревожился; но не дав ему времени повернуться, чтобы ухватиться за лодку, мы несколькими ударами весел отвели ее в сторону, а потом, стоило ему приблизиться, спрашивали, намерен ли он грести, и опять ускользали. Он чуть не плакал от обиды, однако грести не обещал. Наконец, увидев, что он выбился из сил, мы втащили его в лодку и к вечеру доставили домой, промокшего до нитки. После этого мы перестали с ним разговаривать. А вскоре его встретил некий шкипер, ходивший в Вест-Индию, которому было поручено привезти на Барбадос учителя для сыновей одного тамошнего богача, и предложил отвезти его туда. Тут он распростился со мной, пообещав в счет долга первые же деньги, какие получит за работу, но больше я о нем никогда не слышал.

То, что я тратил деньги Вернона, было одной из первых серьезных ошибок в моей жизни, и вся эта история доказывает, что мой отец был недалек от истины, когда счел меня слишком молодым, чтобы возглавить собственное дело. Однако сэр Уильям, прочитав его письмо, заявил, что он зря осторожничает. Люди, мол, бывают разные, и благоразумие не всегда приходит с годами, а иным свойственно с юности. «Раз отец не хочет поставить тебя на ноги, – сказал он, – я сам это сделаю. Подай мне список всего, что нужно закупить в Англии, я пошлю туда человека. Расплатишься, когда сможешь. Я твердо решил иметь здесь хорошего типографщика и уверен, что ты добьешься успеха». Это было сказано таким сердечным тоном, что я ни на минуту не усомнился в его искренности. До сих пор я никому в Филадельфии не рассказывал о предложении Кита и теперь продолжал молчать об этом. Если бы стало известно, что мое будущее зависит от губернатора, кто-нибудь, кто знал его лучше меня, вероятно, посоветовал бы мне не полагаться на его слова: позже-то я узнал, что он не скупится на обещания, которых и не собирается выполнять. Но ведь я ни о чем его не просил, как же я мог заподозрить, что его великодушное предложение – пустые слова? Я считал, что лучше его нет человека на свете.

Я представил ему перечень всего, что нужно для оборудования небольшой типографии, стоимостью, по моим подсчетам, примерно в сто фунтов стерлингов. Он выразил полное свое удовлетворение, но спросил, не сподручнее ли мне будет самому отправиться в Англию и там, на месте, выбрать нужные литеры и прочее оборудование. «К тому же, – добавил он, – там ты мог бы познакомиться и завязать сношения с издателями и книгопродавцами». Я согласился, что это может оказаться выгодно. «Тогда, – сказал он, – будь готов отплыть на «Аннисе», так назывался единственный корабль, совершавший ежегодные рейсы от Филадельфии до Лондона. Но до его отплытия оставалось еще несколько месяцев, и я продолжал пока работать у Кеймера, терзаясь из-за денег, которые взял у меня Коллинз, и со дня на день ожидая, что их потребует Вернон, что произошло, однако, лишь несколько лет спустя.

Я, кажется, забыл упомянуть, что, когда в первый раз отплыл из Бостона, мы попали в штиль у Блок-Айленда, и мои спутники занялись ловлей трески и выловили ее очень много. До тех пор я держался своего решения питаться только растительной пищей, и теперь, памятуя о своем наставнике Трайоне, усматривал в поимке каждой рыбы неоправданное убийство, ведь ни одна из этих рыб не причинила и не могла причинить мне никакого вреда. Все это представлялось мне вполне разумным. Но раньше я очень любил рыбные блюда, и горячая, прямо со сковороды рыба пахла восхитительно. Некоторое время я колебался между принципом и склонностью, а потом вспомнил, что, когда рыбу потрошат, из желудка ее вынимают мелких рыбешек, и подумал: «Раз вы поедаете друг друга, почему нам не поесть вас». И я с аппетитом пообедал треской и после этого ел вместе со всеми, лишь изредка снова переходя на растительную пищу. Вот как удобно быть существом разумным: разум всегда подскажет оправдания для любого поступка, который нам хочется совершить.

Мы с Кеймером между тем жили довольно дружно, поскольку он ничего не знал о моих планах. Он по-прежнему легко загорался и любил спорить, так что у нас нередко возникали ученые диспуты. Я так изводил его моей сократической методой, так часто ставил в тупик вопросами, словно бы не имеющими касательства до нашей темы, однако постепенно к ней подводил, так сбивал его с толку и запутывал, что он стал донельзя осторожен и уже не решался ответить на самый простой вопрос, не осведомившись предварительно: «Какой вывод ты намерен из этого сделать?» Однако он столь высоко расценил мое умение вести спор, что всерьез предложил мне учредить совместно с ним новую секту. Он-де будет проповедовать свои доктрины, а я – разбивать доводы всех оппонентов. Когда он начал излагать мне эти свои доктрины, я усмотрел в них кое-какие неясности и отказался его поддерживать, если он не разрешит мне добавить к ним и некоторые собственные мысли.

Кеймер не стриг бороду, потому что вычитал где-то в Библии запрет: «Не порти углы бороды своей». И соблюдал день субботний. На этих двух пунктах он настаивал. Мне ни тот, ни другой не нравился, но я готов был на них согласиться при условии, что он примет мое правило – питаться только растительной пищей. Боюсь, сказал он, что мое здоровье этого не выдержит. Я стал уверять его, что отлично выдержит и даже еще укрепитя. Он был изрядный обжора, и я решил для забавы заставить его поголодать. Он согласился попробовать, если я составлю ему компанию. Я был не против, и опыт наш продолжался три месяца. Еду нам готовила и приносила одна соседка, я дал ей список из сорока блюд, в которые не входило ни мясо, ни птица, ни рыба, и мне в то время это было на руку, потому что обходилось дешево: не больше восемнадцати пенсов в неделю на брата. С тех пор мне несколько раз довелось соблюдать строгий пост, и переходить от обычной еды к постной и обратно не составляло для меня никакого труда, поэтому я не очень-то верю тем, кто рекомендует совершать такой переход постепенно. Итак, я жил припеваючи, а вот бедняга Кеймер жестоко страдал, тяготился моей затеей, вздыхал о мясных яствах и однажды заказал жареного поросенка. К обеду он пригласил меня и двух женщин, но обед доставили раньше назначенного времени, и он, не устояв против соблазна, съел все один еще до нашего прихода.

В ту пору я почтительно ухаживал за мисс Рид и имел основания думать, что и она ко мне равнодушна; но так как мне предстояло долгое путешествие за море и оба мы были очень молоды, совсем недавно достигли восемнадцати лет, – ее матушка решила, что сейчас нам нельзя заходить слишком далеко и свадьбу, если до этого дойдет, приличнее будет сыграть после моего возвращения, когда я уже буду хозяином собственной типографии. Возможно, мое будущее представлялось ей не в столь радужном свете, как мне.

Большими моими друзьями в то время были Чарльз Осборн, Джозеф Уотсон и Джеймс Ральф, все большие любители чтения. Два первых служили у известного нотариуса Чарльза Бродена, а Ральф был приказчиком у одного торговца. Уотсон был скромный юноша, богобоязненный и безупречно честный; двое других были не так строги в вопросах религии, в особенности Ральф, в чью душу я, как и в душу Коллинза, заронил кое-какие сомнения по части нравственности, о чем оба заставили меня пожалеть. Осборн был неглуп, открытого нрава и предан друзьям, но в отношении литературы не в меру придирчив. Ральф был хорошо образован, прекрасно воспитан и очень красноречив; я не запомню лучшего собеседника. Оба увлекались поэзией и сами пробовали писать стихи. По воскресеньям мы вчетвером совершали чудесные прогулки в лесах близ Скулкилла, во время которых читали друг другу вслух и обсуждали прочитанное.

Ральф намерен был и впредь заниматься поэзией, не сомневаясь, что станет знаменитым поэтом и тем наживет состояние, и уверял, что даже у лучших поэтов, когда они только начинали писать, было не меньше погрешностей, чем у него. Осборн отговаривал его, утверждая, что у него нет поэтического дара, и советовал больше думать о работе, которой он обучен, то есть упорно продвигаться по торговой части; хоть у него и нет капитала, он, проявив усердие и

исполнительность, может получить должность торгового агента, а со временем накопить денег и для собственного дела. Я же время от времени баловался стихами, чтобы усовершенствовать мой слог, но не более того.

Однажды мы сговорились, что к следующей нашей встрече все четверо напишем стихотворение, чтобы затем обменяться взаимными наблюдениями, замечаниями и поправками. Будучи озабочены красотой языка и выразительностью слога, мы оставили в стороне заботу о богатстве воображения и решили, что все четверо переложим на стихи 17-й псалом Давида, о сошествии божества с небес. Когда день нашей встречи приблизился, Ральф зашел ко мне узнать, приготовил ли я свои стихи. Я ответил, что был очень занят, к тому же не расположен сочинять и ничего не написал. Тогда он показал мне свое сочинение, которое я расхвалил, притом вполне искренне. «Вот видишь, – сказал он, – а Осборн никогда не находит в моих писаниях ничего достойного похвалы, зато замечаний делает без счета, это он из зависти. К тебе он так не придирается. Прошу тебя, покажи эти стихи как свои, а я скажу, что ничего не успел написать. Вот посмотрим, что он скажет». Я согласился и тут же переписал его стихи, чтобы и почерк не вызвал сомнений.

Мы встретились. Первым читал Уотсон; в его стихах были кое-какие красоты, но и много изъянов. Прочли стихи Осборна, те были намного лучше. Ральф отдал им должное: отметил недостатки, а красотами восхитился. Сам он пришел как будто с пустыми руками. Когда настал мой черед, я долго мялся, сказал, что лучше бы мне нынче не читать, что мне не хватило времени еще раз перечитать написанное и т. д., но слова мои не помогли – читай, да и только. Я прочел стихи один раз, потом второй. Уотсон и Осборн дружно восторгались и оба вышли из соревнования. Ральф сделал несколько замечаний и предложил несколько поправок, но я упорно отстаивал свой текст. Осборн стал возражать Ральфу, заявил, что он не только плохой поэт, но и плохой критик, на этом они прекратили спор, и Ральф и Уотсон отправились домой. После их ухода Осборн еще более восторженно отзывался о том, что принимал за мое творение, и объяснил, что раньше выражался сдержанно, чтобы я не усмотрел в его словах лести. «Но кто бы подумал, – сказал он, – что наш Франклин способен на такое! Какие краски, какая сила, какой огонь! Лучше подлинника, честное слово. А ведь в обычном разговоре не блещет, язык у него бедный, он запинается, мямлит. Но как пишет, бог ты мой!» Когда мы встретились в следующий раз, Ральф открыл ему нашу проделку, и над Осборном немножко посмеялись.

История эта еще укрепила Ральфа в его намерении стать поэтом. Я всячески его отговаривал, но он продолжал кропать стихи до тех пор, пока сам Поуп не излечил его от этого порока в своей «Дунсиаде».

А прозаиком он стал очень недурным. Я еще вернусь к нему, а о двух других мне уже едва ли представится случай упомянуть, поэтому замечу здесь, что Уотсон через несколько лет умер у меня на руках, он был лучшим из нас, и все его оплакивали. Осборн уехал в Вест-Индию, стал там адвокатом и хорошо зарабатывал, но прожил недолго. Мы с ним когда-то торжественно договорились, что тот из нас, кто умрет первым, по возможности заглянет ко второму с дружеским визитом и расскажет, как он себя чувствует на том свете. Но этого своего обещания он не выполнил.

Губернатор по-прежнему часто приглашал меня к себе и всякий раз упоминал о моем будущем как о деле решенном. Мне предстояло захватить с собой рекомендательные письма к нескольким его друзьям, а также кредитное письмо на предмет приобретения станка, шрифтов, бумаги и проч. Не раз он назначал мне день, когда явиться за этими письмами, но, когда я приходил, срок всякий раз отодвигался.

Так шло почти до того дня, когда наш корабль, тоже после неоднократных отсрочек, должен был наконец сняться с якоря. А когда я зашел проститься и взять письма, ко мне вышел его секретарь д-р Бард и сказал, что губернатор очень занят, но побывает в Ньюкасле еще до отхода корабля и письма я получу там.

Ральф, хоть и был женат и уже имел ребенка, решил тоже ехать со мной в Англию. Предполагали, что он задумал стать торговым агентом и продавать товары за комиссионные, но позднее выяснилось, что он, не поладив с родственниками жены, решил оставить ее на их попечении и больше не возвращаться. Простившись с друзьями и обменявшись нежными обещаниями с мисс Рид, я отплыл из Филадельфии, и наш корабль, как и было намечено, сделал стоянку в Ньюкасле. Губернатор находился там, но когда я зашел к нему, секретарь его передал мне в самых учтивых выражениях, что сейчас он не может меня принять, потому что занят неотложными делами, но принесет мне нужные бумаги на корабль, что он желает мне счастливого плавания и скорого возвращения и т. д. Я вернулся на корабль немного озадаченный, но все еще не чуя дурного.

Глава III

На том же корабле отплыл из Филадельфии знаменитый адвокат мистер Эндрю Гамильтон со своим сыном. Они, а также купец-квакер мистер Дэнхем и господа Онион и Рассел, владельцы железоделательного завода в Мэриленде, заняли всю большую каюту, так что нам с Ральфом пришлось довольствоваться койками на нижней палубе; никто из пассажиров не был с нами знаком и не полагал нужным с нами считаться. Но мистер Гамильтон и его сын (это был Джеймс, впоследствии губернатор) вернулись из Ньюкасла в Филадельфию, поскольку отец согласился за высокую плату выступить там в суде по делу о захваченном судне; и когда перед самым нашим отплытием на наш корабль явился полковник Френч и заговорил со мной очень уважительно, на меня обратили внимание, и остальные джентльмены предложили мне и моему другу Ральфу занять освободившиеся места в большой каюте, куда мы и перебрались.

Полагая, что полковник Френч доставил на борт почту губернатора, я попросил капитана передать мне те письма, которые предназначались для меня. Он сказал, что вся почта погружена в один мешок и сейчас он заниматься ею не может. Но еще до высадки в Англии он даст мне возможность отобрать то, что мне нужно; на этом мне пришлось пока успокоиться, и мы продолжали путь. В каюте народ подобрался общительный, и жили мы безбедно, к тому же пользуясь провизией мистера Гамильтона, который запас ее в дорогу презрительно. В других отношениях переход был не из приятных, ибо погода нам не благоприятствовала.

Когда мы вошли в Ла-Манш, капитан, верный своему обещанию, дал мне возможность отобрать из почтового мешка письма губернатора. Ни на одном из них я не нашел своего имени. Я отобрал шесть или семь писем, которые, судя по надписям, могли оказаться теми, что были мне обещаны; одно из них было адресовано Баскету, королевскому печатнику, а другое – какому-то издателю. В Лондон мы прибыли 24 декабря 1724 года. Я сразу отправился к тому издателю, благо его адрес был ближе к пристани, и вручил ему письмо, сказав, что оно от губернатора Кита. «Не знаю такого, – сказал он, а потом, вскрыв письмо, воскликнул: «А, это от Ридлсдена! Я как раз недавно узнал, что он отъявленный плут, и не желаю ни иметь с ним дела, ни получать от него письма». И, отдав мне обратно письмо, повернулся ко мне спиной и занялся с каким-то посетителем. Я удивился, сообразив, что письма эти не от губернатора, а потом, вспомнив и сопоставив некоторые обстоятельства, усомнился как и в его искренности. Отыскав моего друга и попутчика Дэнхема, я все ему рассказал. Он просветил меня касательно Кита; сказал, что тот, разумеется, и не думал писать для меня никаких писем, что все, кто его знает, давно перестали ему доверять, а узнав про обещанное кредитное письмо, только посмеялся, заметив, что никаким кредитом Кит не располагает. Когда же я в тревоге спросил его, как мне теперь быть, он посоветовал мне поискать работы, в которой я уже кое-что смыслю. «От здешних типографщиков вы переймете много нового, и это очень вам пригодится, когда вы вернетесь в Америку».

Как выяснилось, оба мы, а не один тот издатель, знали, что стряпчий Ридлсден – отпетый мошенник. Он чуть не пустил по миру отца мисс Рид, упросив его за него поручиться. Из письма, попавшего мне в руки, явствовало, что составлен тайный сговор против Гамильтона (который должен был прибыть одновременно с нами) и что Кит замешан в нем наравне с Ридлсденом. Дэнхем, бывший с Гамильтоном в дружеских отношениях, считал, что его необходимо предостеречь, и, когда он спустя короткое время прибыл в Англию, я, подстрекаемый с одной стороны желанием насолить Киту и Ридлсдену, а с другой приязнью к нему самому, побывал у него и отдал ему то письмо. Сведения в письме оказались для него очень важными, он сердечно благодарил меня и после того стал мне другом, что впоследствии не раз оказывалось для меня весьма кстати.

Но что сказать о губернаторе, который не гнушается столь жалкими проделками, так бессовестно водит за нос неимущего, неопытного юнца! Это была у него привычка. Ему хотелось каждому сделать приятное, и, когда нечего было дать, он давал обещания. Вообще же он был неплохой человек, неглупый, порядочно владел пером и провинцией управлял с пользой для простого народа, если не для своих влиятельных избирателей, чьи наказания он частенько оставлял без внимания. Некоторые из лучших наших законов были задуманы им и проведены в жизнь во время его губернаторства.

Мы с Ральфом не расставались. Вместе сняли квартиру на улице Литтл-Бриттен, за три с половиной шиллинга в неделю, на большее у нас тогда денег не было. Он разыскал каких-то своих родственников, но это были люди бедные и помочь ему не могли. Только теперь он поведал мне, что решил остаться в Лондоне, а в Филадельфию больше не возвращаться. Денег он с собой не привез, все, что было, отдал за проезд на корабле. У меня было пятнадцать золотых, и он, пока подыскивал работу, время от времени брал у меня займы на пропитание. Сперва он толкнулся в театр, считая, что вполне способен стать актером; но Уилкс, к которому он обратился, охладил его пыл и посоветовал забыть о театре. Потом он предложил Робертсу, одному издателю на Патерностер-роу, писать для него еженедельный журнал наподобие «Зрителя», но поставил некоторые условия, на которые Робертс не пошел. Тогда он стал искать подсобной работы или переписки для юристов в Темпле, но там работники этого рода не требовались.

Я же сразу начал работать у Пальмера, в знаменитой в то время типографии близ церкви Святого Варфоломея и проработал там около года. Работал я прилежно, но большую часть своих заработков тратил, посещая с Ральфом театр и другие веселые места. Общими силами мы спустили все мои золотые и теперь перебивались с куска на кусок. Он словно бы и забыл про жену и ребенка, а я постепенно тоже забыл, что обручен с мисс Рид, которой послал всего одно письмо, да и то лишь с целью сообщить, что навряд ли скоро вернусь домой. Это тоже было одной из серьезных ошибок в моей жизни, которую я охотно исправил бы, доведись мне прожить ее заново. Впрочем, при наших расходах мне все равно нечем было бы заплатить за обратный проезд.

У Пальмера меня поставили набирать второе издание «Религии природы» Уоллостона. Некоторые его доводы показались мне неубедительны, и я написал небольшой философский памфлет, в коем изложил свои возражения. Назывался он «Рассуждение о свободе и необходимости, удовольствии и страдании». Я посвятил его моему другу Ральфу и отпечатал несколько экземпляров. После этого мистер Пальмер стал присматриваться ко мне как к молодому человеку не без способностей, но принципы моего памфлета возмутили его до глубины души. Публикование этого памфлета тоже было ошибкой. Поселившись на Литтл-Бриттен, я познакомился с неким Уилкоксом, книгопродавцем, чья лавка помещалась в соседнем доме. В этой лавке у него было великое множество подержанных книг. Библиотек, где книги выдавались бы на дом, в то время не было, но мы договорились, что за ничтожную плату, какую именно, уже не помню, я могу брать у него любую книгу и по прочтении возвращать. Эту возможность я очень ценил и пользовался ею, сколько позволяло время.

Каким-то образом мой памфлет попал в руки мистеру Лайонсу, врачу и автору книги «Непогрешимость человеческого суждения», и на этой почве мы с ним познакомились. Он благоволил ко мне, часто заходил для ученой беседы, водил меня в «Рога», пивную на Чипсайде, и свел с доктором МанDEVИЛЕМ, автором «Басни о пчелах», бывшим душой тамошних завсегдатаев как на диво интересный и веселый собеседник. Тот же Лайонс в кофейне Батсона отреккомендовал меня д-ру Памбертону, а тот, в свою очередь, обещал при случае показать мне сэра Исаака Ньютона, которого я страстно мечтал увидеть, но случай этот так и не представился.

Из Америки я привез с собой несколько диковин, среди которых самой замечательной был несгораемый кошелек из асбеста. Об этом прослышал сэр Ханс Слоун; он побывал у меня,

пригласил посетить его дом на Рассел-сквер и, показав мне свое собрание редкостей, уговорил присоединить к ним и мою и щедро заплатил за нее.

В одном доме с нами жила молодая женщина, модистка, кажется, державшая мастерскую где-то поблизости. Она была хорошо воспитана, неглупая, живая, приятная в обращении. Ральф по вечерам читал ей пьесы, они близко сошлись, она переехала на другую квартиру, и он последовал за ней. Некоторое время они жили вместе, но он все еще был без работы, а ее доходов не хватало на содержание их обоих, да еще ее ребенка, и он решил уехать из Лондона и попытать счастья в качестве учителя в какой-нибудь сельской школе, для каковой должности считал себя вполне подготовленным, потому что превосходно писал и хорошо знал арифметику. Однако он считал, что эта работа унижит его, и, не теряя надежды на более интересное занятие в будущем, когда ему не захочется, чтобы люди узнали, что когда-то он до нее снизошел, переменял фамилию на мою, вообразив, вероятно, что оказывает мне этим большую честь. Вскоре я получил письмо, в котором он извещал меня, что поселился в глухой деревне (кажется, в Беркшире, где обучает чтению и письму десятков мальчиков за шесть пенсов с каждого в неделю), препоручает миссис Т. моим заботам и просит писать ему на имя школьного учителя мистера Франклина туда-то.

Он продолжал мне писать и присылал длинные куски эпической поэмы, сочинением которой был занят, с просьбой сообщать ему мои замечания и поправки. Время от времени я выполнял его просьбу, но не столько поощрял его писать дальше, сколько советовал остановиться. В то время как раз вышла в свет одна из «Сатир» Юнга, я переписал и послал ему большой отрывок из нее, в котором ярко обрисовано, какое это безумие – гоняться за музами в надежде на вознаграждение с их стороны. Но и это не помогло: куски поэмы продолжали поступать ко мне с каждой почтой. Между тем миссис Т., растеряв по его милости и друзей, и заказы, часто оказывалась на мели и, послав за мной, просила дать взаймы сколько могу. Я к ней привязался и, не сдерживаемый в то время соображениями религии, а также понимая, как я ей нужен, позволил себе некоторые вольности (еще одна ошибка!), которые она пресекла с похвальной горячностью, да еще осведомила Ральфа о моем поведении. Это привело к разрыву между нами; и он, когда возвратился в Лондон, дал мне понять, что не считает себя связанным со мною никакими обязательствами. Так я потерял всякую надежду когда-либо получить деньги, которые он мне задолжал. Впрочем, это было не так уж важно, ведь платить ему все равно было нечем; а потеряв его дружбу, я почувствовал, что свалил с себя тяжкое бремя. Я стал подумывать о том, чтобы отложить немного денег, и в расчете на лучшие заработки перешел от Пальмера к Уотсу, владельцу еще более известной типографии близ Линкольн-Инн-Фильдс. Здесь я проработал все время, что еще оставался в Лондоне.

В новой типографии я начал с работы у станка. Мне казалось, что я слишком мало двигаюсь, а я к этому не привык, ведь в Америке каждый работает и наборщиком и печатником. Пил я только воду, тогда как другие работники, числом около пятидесяти, были большие охотники до пива. Мне случалось таскать вверх и вниз по лестнице по большой печатной форме в каждой руке, а другие носили их по одной, держа обеими руками. Из этого и других подобных примеров они убедились, что «водяной американец», как они меня прозвали, покрепче их, хоть они и пьют крепкое пиво! В типографии всегда торчал мальчишка из пивной, чтобы без промедления снабжать работников. Мой напарник каждый день выпивал пинту до утреннего завтрака, пинту к завтраку с хлебом и сыром, пинту между завтраком и обедом, еще пинту часов в шесть и еще одну, когда рабочий день кончался. Мне этот обычай был противен, а он, наверно, считал, что крепкое пиво придает ему крепости в работе. Я пытался ему втолковать, что физическая сила, проистекающая от пива, соразмерна лишь количеству ячменного зерна или муки, растворенной в воде, из которого оно варится, что в куске хлеба ценою в пенни муки больше, а значит, если съесть кусок хлеба и запить пинтой воды, такой завтрак придаст ему больше крепости, чем пинта пива. Однако он продолжал пить, и каждую субботу у него

вычитали из получки четыре или пять шиллингов за это хмельное пойло, я же получал свое сполна. Так эти бедняги изо дня в день сами себя обездоливали.

Уотс через несколько недель пожелал перевести меня в наборную, я расстался с печатниками, и тогда наборщики, как было принято, потребовали с меня новый взнос на выпивку, пять шиллингов. Я расценил это как вымогательство, поскольку уже платил; хозяин поддержал меня и не велел платить вторично. Недели три я выдерживал характер, и работники, заклеив меня как изгоя, принялись играть со мной злые шутки: перемешивали и рассыпали мои литеры, меняли порядок страниц и проч. и проч., а сваливали все это на проказы домового, который-де не дает человеку покоя, если он не принят в компанию по всем правилам; так что мне, несмотря на поддержку хозяина, пришлось-таки сдаться и заплатить, поняв, что неразумно ссориться с теми, с кем живешь бок о бок.

Когда же отношения наши наладились, я скоро приобрел и немалое влияние. Предложил кое-какие полезные преобразования в нашем уставе и провел их в жизнь, невзирая на сильное противодействие. По моему примеру многие работники отказались от пьяного завтрака из пива с хлебом и сыром и стали, как и я, брать в соседнем трактире большую миску горячей похлебки, поперченной, посыпанной хлебными крошками и чуть подмасленной, за ту же цену, что и пинта пива, а именно за полтора пенса. Завтрак получался и сытнее и дешевле, и голова оставалась свежей. Те, что продолжали с утра до вечера лакать пиво, часто должны были в пивную и занимали у меня денег под проценты. По субботам я проверял платежную ведомость и собирал с них долги, а потом, случалось, вносил в пивную сразу тридцать шиллингов за неделю. За это, а также за веселый нрав я сделался общим любимцем. Хозяин ценил мое прилежание (я никогда не праздновал день святого Понедельника), а набирал я так быстро, что мне поручали все срочные заказы, которые обычно и оплачивались выше. Так что жилось мне теперь лучше некуда.

Моя квартира на Литтл-Бриттен оказалась слишком далеко, и я нашел другую, на Дьюк-стрит, насупротив католической часовни. Помещалась она в третьем этаже, а дом примыкал к какому-то итальянскому складу. Владела домом некая вдова, у нее была дочь и служанка и еще работник, тот работал на складе, но жил в другом месте. Наведя справки в том доме, где я жил перед тем, она согласилась сдать мне комнату за ту же цену, три с половиной шиллинга в неделю, а дешево так потому, что ей будет со мной спокойнее, все-таки мужчина в доме. Она была уже немолода, отец ее был протестантским священником, но муж, чью память она свято чтит, убедил ее принять католичество. Она много вращалась среди знатных людей и знала о них уйму всяких историй, некоторые еще из времен Карла II. Ее мучила подагра, от которой она сильно хромала, а потому редко выходила из дому, и ей бывало скучно одной. Мне же в ее обществе было так интересно, что я никогда не отказывался провести с ней хоть весь вечер. На ужин мы съедали только по рыбке на тонком ломтике хлеба и вдвоем выпивали полпинты эля, но слушать ее я мог без конца. Ей нравилось, что я рано возвращаюсь домой и никому в доме не причиняю беспокойства, таким жильцом она дорожила, так что когда я рассказал ей, что еще ближе к месту моей работы сдастся комната за два шиллинга в неделю (а теперь, когда я решил копить деньги, это составляло для меня разницу), то просила и не думать об этом, на будущее она сама скостит мне два шиллинга. И я жил у нее за полтора шиллинга, пока окончательно не уехал из Лондона.

На чердаке ее дома жила, ни с кем не общаясь, семидесятилетняя девица, о которой хозяйка рассказала мне следующее: она католичка, в юности была отправлена за границу и жила при монастыре с намерением постричься в монахини; но тамошний климат ей не подошел, она возвратилась в Англию, а так как в Англии женских обителей не было, дала обет вести монашескую жизнь, насколько это возможно при таких обстоятельствах. Все свое имение она раздала на благотворительные цели, оставив себе на жизнь всего двенадцать фунтов в год, и даже из этих денег большую часть раздает бедным, а сама питается кашей на воде

и огонь разводит, только чтобы сварить ее. На этом чердаке она прожила много лет, нижние жилыцы-католики один за другим разрешали ей жить там бесплатно, полагая, что это им зачтется свыше. Каждый день приходил священник исповедовать ее. «Я уж ее спрашивала, – сказала моя хозяйка, – как у нее, при ее-то жизни, находится столько работы для исповедника». А она мне: «Ну что вы, суетные-то мысли всегда найдутся». Однажды мне разрешили ее навещать. Она была бодра, учтива, разговаривала охотно. В комнате было чисто, но вся обстановка состояла из тюфяка, стола, на котором лежало распятие и Библия, и табуретки, на которую она предложила мне сесть, а над камином висело изображение святой Вероники с платом, на коем чудом запечатлелся окровавленный лик Христа, что она вполне серьезно мне объяснила. Она была очень бледная, но сказала, что никогда не болеет. Вот еще пример того, на какие гроши можно поддерживать в себе жизнь и здоровье.

В типографии Уотса я сошелся с одним молодым человеком по фамилии Уайгет, который благодаря богатым родственникам получил лучшее образование, чем большинство печатников: он порядочно знал латынь, говорил по-французски и любил читать. Его и его приятеля я стал учить плавать на Темзе, и они скоро стали приличными пловцами. Они же познакомили меня с приезжими помещиками, которые как-то отправились по воде в Челси, чтобы осмотреть военную богадельню и собрание Сальтеро. На обратном пути я, по просьбе всей компании, чье любопытство возбудил Уайгет, разделся, прыгнул в воду и проплыл почти от самого Челси до Уайтфрайерса, выделявая всевозможные фокусы и под водой, и на поверхности, чем удивил и развеселил тех, кто этого еще не видел.

Сам я с детства пристрастился к воде, изучил и освоил все движения и позиции из руководства Тевенота, да еще прибавил своих, добиваясь не только пользы, но и грации движений. В тот день я особенно постарался, и всеобщее восхищение очень мне польстило; а Уайгет, задумав идти по моим стопам, все больше искал моего общества, и река связывала нас так же, как общность наших интересов. И вот однажды он предложил мне вместе совершить путешествие по всей Европе, подрабатывая на жизнь нашим ремеслом в попутных городах. Меня это сильно соблазняло, но когда я рассказал о таких планах моему доброму другу мистеру Дэнхему, к которому часто забегал на часок, он отговорил меня, порекомендовав не думать ни о чем, кроме возвращения в Пенсильванию, к чему и сам уже готовился.

Не могу не рассказать один случай из его жизни, ярко рисующий характер этого прекрасного человека. Когда-то он вел дела в Бристоле, но обанкротился, был объявлен несостоятельным должником и, подписав компромиссное соглашение с кредиторами, уехал в Америку. Там он с великим усердием занялся торговлей и за несколько лет нажил большое состояние. Возвратясь в Англию на одном корабле со мной, он пригласил своих давнишних кредиторов на обед, поблагодарил за то, как милостиво они с ним обошлись, и каждый из них, хоть и не ожидал ничего, кроме угощения, при первой же перемене блюд нашел у себя под тарелкой чек на весь остаток долга, с процентами.

Теперь он сообщил мне, что скоро возвращается в Филадельфию и везет туда изрядное количество товаров, чтобы открыть новую лавку. Он предложил мне ехать с ним в качестве его секретаря и помощника, я буду вести его книги, чему он берется меня научить, переписывать его письма и служить в новой лавке. А как только я освоюсь в торговых делах, он повысит меня в должности, пошлет в Вест-Индию с грузом муки, хлеба и проч. и схлопочет для меня прибыльные поручения также от других купцов. И если дело у меня пойдет, даст мне денег на собственное обзаведение.

Его предложение пришлось мне по душе: я устал от Лондона, с удовольствием вспоминал счастливые месяцы, проведенные в Филадельфии, и очень хотел снова туда попасть, поэтому не задумываясь согласился на его условия: пятьдесят фунтов в год пенсильванскими деньгами; это было меньше, чем я зарабатывал как наборщик, но открывало более выгодные возможности.

И вот я распростился с книгопечатанием, как думал – навсегда, и стал приобщаться к новому делу: ежедневно бывал с мистером Дэнхемом у разных торговцев, где он закупал нужные ему товары, надзирал за их упаковкой, выполнял поручения, поторапливал грузчиков и т. п., а когда все было погружено, был на несколько дней отпущен отдохнуть. В один из этих дней меня, к великому моему удивлению, вызвал к себе человек, которого я знал только понаслышке, а именно сэр Уильям Уиндем. Каким-то образом до него дошло, что я проплыл от Челси до Уайтфрайерса и что за несколько часов научил плавать Уайгета и еще одного молодого человека. У него было два сына, собиравшихся в дальнее путешествие, он желал, чтобы они предварительно научились плавать, и предложил щедро вознаградить меня, если я возьмусь их обучить. Но они еще не прибыли в Лондон, я же не знал в точности, сколько еще там пробуду, поэтому был вынужден отказаться; однако подумал, что если б я остался в Англии и открыл школу плавания, то мог бы нажить на этом немало денег, и эта мысль так меня поразила, что, обратись он ко мне со своей просьбой раньше, я бы, вероятно, не так скоро возвратился в Америку. Спустя много лет уже более важные дела привели нас с тобой к одному из сыновей сэра Уильяма Уиндема, тогда уже графа Эгремонта, о чем я расскажу в своем месте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.